

§ I. О роли машин в их отношениях со свободой

Внедрение машин в промышленность осуществляется в противовес закону о разделении и как бы для восстановления глубокого равновесия, нарушенного этим законом. Чтобы полностью оценить масштабы этого движения и понять его дух, необходимы некоторые общие соображения.

Современные философы, собрав и классифицировав свои летописи, по характеру своей работы пришли к тому, чтобы заняться также историей: и тогда они не без удивления обнаружили, что *история философии* оказалась в основном тем же самым, что и *философия истории*; более того, что эти две ветви спекуляции, кажущиеся столь разнообразными, история философии и философия истории, были не более, чем мизансценой концепций метафизики, которая сама является целой философией.

Тогда, если разделить вопрос универсальной истории на определенное количество структур, таких, как математика, естествознание, социальная экономика и т. д., обнаружится, что каждый из этих разделов также содержит метафизику. И так будет до последнего подразделения всей истории: так что вся философия лежит в основе всех природных или промышленных проявлений; что она не соглашается с размером или качеством; что для достижения своих самых возвышенных концепций все парадигмы могут быть использованы одинаково хорошо; наконец, что все постулаты разума, встречающиеся в самой скромной промышленности так же, как в наиболее общих науках, чтобы сделать из каждого ремесленника философа, то есть сделать его дух обобщающим и весьма синтетическим, было бы достаточно научить его чему? его профессии.

До сих пор, правда, философия, как и богатство, сохранялась для определенных каст: у нас есть философия истории, философия права, а также несколько других философий; это своего рода присвоение, которое, как и многое другое такого же благородного происхождения, должно исчезнуть. Но чтобы поглотить это огромное уравнение, мы должны начать с философии труда, после чего каждый работник сможет, в свою очередь, воспринять философию своего состояния.

Итак, любой продукт искусства и промышленности, любой политический и религиозный институт, а также любое организованное или неорганизованное создание, являются лишь реализацией, естественным или практическим приложением философии, идентичностью законов природы и разума, бытия и идеи; и когда мы, со своей стороны, устанавливаем постоянное соответствие экономических явлений чистым законам мышления, эквивалентность реального и идеального в человеческих фактах, мы только повторяем в каждом конкретном случае эту вечную демонстрацию.

О чем мы говорим на самом деле?

Чтобы определить стоимость, другими словами, организовать само по себе производство и распределение богатства, общество действует точно так же, как и разум при создании концепций. Во-первых, оно устанавливает первый факт, выдвигает первую гипотезу, разделение труда, настоящую антиномию, антагонистические результаты которой разворачиваются в социальной экономике, так же, как последствия могли бы быть выведены в уме: так же, как промышленное движение, следуя во всем умозаключениям идей, разделяется на двойное течение, одно из полезных эффектов, другое из разрушительных результатов, будучи все равно необходимыми и законными продуктами того же самого закона. Чтобы гармонично создать этот двусторонний принцип и разрешить эту антиномию, общество заставляет появиться следующую (антиномию), за которой вскоре последует третья; и таков будет марш социального гения, я полагаю, до тех пор, пока не будут исчерпаны все его противоречия, но не доказано, что противоречие в человечестве имеет конец, — оно возвращается внезапно на всех свои предыдущие позиции и в одной формуле решает все проблемы.

Следуя в нашем изложении этому методу параллельного развития реальности и идеи, мы находим двойное преимущество: во-первых, в том, чтобы избежать упрека материализма, так часто адресуемого экономистам, для которых факты являются правдой только потому, что они являются фактами и материальными фактами. Для нас, наоборот, факты не имеют значения, потому что мы не знаем, что означает это слово, но знаем о видимых проявлениях невидимых идей. На этом основании факты доказывают только то, что согласуется с идеей, которую они представляют; и именно поэтому мы отвергли как не законные и не окончательные полезную стоимость и стоимость обмена, а позже и само разделение труда, хотя для экономистов все они были абсолютным авторитетом.

С другой стороны, нас нельзя больше обвинять в спиритуализме, идеализме или мистицизме: ибо, принимая в качестве отправной точки только внешнее проявление идеи, идеи, которую мы игнорируем, которая не существует, пока не проявляется, как свет, который был бы ничем, если бы солнце существовало в бесконечной пустоте в одиночестве; отбрасывая всё *à priori* теогоническое и космогоническое, все изыскания на веществе, причине, «я» и «не-я», мы ограничиваемся на поиске *законов* бытия и следовании системе его явлений так далеко, как может достичь разум.

Без сомнения, в основном всё знание останавливается перед тайной: таковы, например, материя и дух, которые мы признаем в качестве двух неизвестных сущностей, опоры всех явлений. Но это не значит, что по этой причине тайна является отправной точкой знания, а мистицизм — необходимым условием логики: напротив, спонтанность нашего разума постоянно стремится к подавлению мистики; она *à priori* протестует против всякой тайны, потому что тайна полезна только для того, чтобы отрицать ее, и что отрицание мистики — единственное, для чего разуму не нужен опыт.

Короче говоря, человеческие факты являются воплощением человеческих идей: поэтому изучать законы общественной экономики — значит составлять теорию законов разума и создавать философию. Теперь мы можем следить за ходом нашего исследования.

В конце предыдущей главы мы оставили рабочего, борющегося с законом разделения: как этот неутомимый Эдип подойдет к решению этой загадки?

В обществе непрерывное появление машин является противоположностью, обратной формулой разделения труда; это протест промышленного гения против разделенной и убийственной работы. Что такое на самом деле машина? способ объединения различных частей труда, которые были сепарированы разделением. Любая машина может стать сочетанием ряда операций, упрощением усилий, квинтэссенцией труда, сокращением затрат. Во всех этих отношениях машина — противоположность разделения (труда). Таким образом, с помощью машины произойдет восстановление работника (использовавшегося на участке), уменьшение тягот рабочего, себестоимости продукта, движение в отношении стоимостей, прогресс в направлении новых открытий, повышение общего благосостояния. Как открытие формулы предоставляет новую возможность геометру, так же изобретение машины — это сокращение ручного труда, которое умножает силу производителя; и можно полагать, что антиномия разделения труда если и не будет полностью преодолена, то будет сбалансирована и нейтрализована. В курсе г-на Шевалье ему следует прочесть о неисчислимых преимуществах, которые дает обществу вмешательство машин: это поразительная картина, к которой я хотел бы привлечь внимание читателя.

Машины, представленные в политической экономии в качестве противоречия разделению труда, представляют собой синтез, противопоставляемый в человеческом разуме анализу; и, как мы вскоре это увидим, вся политическая экономия уже дана в разделении труда и в машинах, так же, как с анализом и синтезом у нас есть вся логика, у нас есть философия. Человек, который трудится, необходимо и шаг за шагом прибегает к разделению (труда) и к помощи инструментов; точно так же тот, кто рассуждает, необходимо и шаг за шагом — к синтезу и анализу, ничего, абсолютно ничего больше. И труд, и разум никогда не выходят за эти пределы: Прометей, как Нептун, достигает края света за три шага.

Из этих принципов, таких простых, ярких, как аксиомы, вытекают громадные последствия.

Поскольку в ходе мыслительного процесса анализ и синтез, по сути, неразделимы, и из того, что, с другой стороны, теория становится правомерной только при условии следования шаг за шагом опыту, следует, что труд, объединяя анализ и синтез, теорию и опыт в непрерывном действии, труд, внешняя форма логики, стало быть, суммируя реальность и идею, вновь выступает в качестве универсального способа обучения. *Fit fabricando faber* (Производство создает производителя (лат.). — А.А. А-О.): из всех систем образования наиболее абсурдной является та, что отделяет разум от деятельности и делит человека на две невозможные сущности: абстрактного и автоматного. Вот почему мы приветствуем справедливые жалобы г-на Шевалье, г-на Дюнойе и всех тех, кто требует реформы университетского образования; это также дает основу для надежды на результаты, которые мы обещали себе от такой реформы. Если бы образование было прежде всего экспериментальным и практическим, оставляя дискурс только для объяснения, обобщения и координации работы; если бы мы позволили воспринимать глазами и руками тем, кто не может учиться воображением и памятью: скоро мы увидели бы, в формах труда, увеличение возможностей; каждый, зная теорию чего-либо, тем самым знал бы философский язык; иногда можно было бы, пусть только раз в жизни, создавать, модифицировать, совершенствовать, демонстрировать ум и понимание, создавать свой шедевр, короче,

показать себя человеком. Неравенство приобретений памяти ничего не изменит в эквивалентности способностей, и гениальность покажется нам не более, чем то, чем на самом деле является здоровье ума.

Прекрасные умы восемнадцатого века долго спорили о том, что представляет собой *гений*, чем он отличается от *таланта*, что нужно понимать под духом и т. д. Они перенесли в интеллектуальную сферу те же различия, которые в обществе разделяют людей. Для них были короли и господствующие гении, князья-гении, министерские гении; потом еще дух джентльменства и буржуазные умы, городские таланты и деревенские таланты. В самом низу лестницы лежала грубая толпа работников, слабых душ, лишенных славы избранных. Вся риторика все еще полна непристойности, которую монархический интерес, размытость слов и социалистическое лицемерие стремятся распространить для вечного рабства наций и поддержки порядка вещей.

Но если показано, что все операции разума сводятся к двум — анализу и синтезу, которые необходимо неразделимы, хотя и различны; если, по вынужденному следствию, несмотря на бесконечное разнообразие работ и исследований, разум всегда повторяет одну и ту же картину, гениальный человек — не что иное, как человек прекрасного строения, который много работал, много размышлял, много анализировал, сравнивал, классифицировал, обобщал и делал выводы; в то время как ограниченное существо, которое томится в хронической рутине, вместо того, чтобы развивать свои способности, убило свой разум инерцией и автоматизмом. Абсурдно различать как отличающееся по существу то, что в действительности отличается только по возрасту, затем превращать в привилегии и исключать различные степени развития или шансы на спонтанность, которые посредством работы и образования должны истираться день за днем.

Риторы-психологи, которые классифицировали человеческие души на династии, благородные расы, буржуазные семьи и пролетариат, тем не менее отметили, что гений не универсален и что у него есть своя специализация; следовательно Гомер, Платон, Фидий, Архимед, Цезарь и т. д., которые все казались им первыми каждый в своем жанре, были ими объявлены равными и суверенными из отдельных королевств. Какое несоответствие! Как будто специализация гения не предаёт сам закон равенства интеллекта! как если бы, с другой стороны, постоянство успеха в произведении гения не было доказательством того, что он действует в соответствии с принципами, чуждыми ему и являющимися залогом совершенства его работ, если он следует за ними с верностью и уверенностью! Этот апофеоз гения, о котором с открытыми глазами мечтали люди, чьи лепеты всегда оставались бесплодными, заставил бы поверить во врожденную глупость большинства смертных, если бы он не был блестящим доказательством их совершенства.

Таким образом, труд, разграничив возможности и подготовив их равновесие посредством разделения отраслей, завершает, если позволено так сказать, вооружение интеллекта машинами. Согласно историческим свидетельствам, как и в соответствии с анализом, и несмотря на аномалии, вызванные антагонизмом экономических принципов, интеллект у людей различается не силой, резкостью или широтой: но в первую очередь специализацией, или, как говорят в школе, определением по качеству; во вторую очередь — упражнением и образованием. Следовательно, у индивидуума, как и у коллективного человека, интеллект — это гораздо более, чем способность, которая появляется, формируется и развивается,

quæ fit, (Которая становится (лат.). — А.А. А-О) как сущность или энтелехия [166], которая существует полностью сформированной независимо от обучения. Разум, или какое бы имя мы ему не дали, гений, талант, промышленность, является в начале пути обнаженной и инертной виртуальностью, которая постепенно растет, становится сильнее, окрашивается, определяется и обретает бесконечные нюансы. По важности своих владений, одним словом, по своему капиталу, интеллект отличается и всегда будет отличаться от одного человека к другому; но как сила, равная для всех по происхождению, социальный прогресс должен, непрерывно совершенствуя свои средства, вновь сделать его равным. Без этого труд останется привилегией для некоторых, а для других — наказанием.

Но баланс возможностей, из которых мы видели прелюдию в разделении труда, не полностью соответствует назначению машин, и взгляды на Провидение простираются далеко за пределы этого. С введением машин в экономику развитие предоставлено СВОБОДЕ.

Машина является символом человеческой свободы, символом нашего господства над природой, атрибутом нашей власти, выражением наших прав, символом нашей личности. Свобода, разум — вот и весь человек: поскольку, если мы отвергнем как мистическое и неразборчивое предположение о сущности человека, рассматриваемой с точки зрения вещества (духа или материи), нам останется только две категории проявления, включая, во-первых, все, что называется ощущениями, волями, страстями, влечениями, инстинктами, чувствами; во-вторых, все явления, классифицируемые под именами внимания, восприятия, памяти, воображения, сравнения, суждения, рассуждения и т.д. Что касается органического устройства, с учетом, что оно далеко не является принципом или основой этих двух категорий способностей, его следует рассматривать как синтетическую и позитивную реализацию, живое и гармоничное выражение. Поскольку то, что человечество делает из своих противоположностей, должно однажды породить общественную организацию, тот же человек должен быть задуман как результат двух серий виртуальностей.

Таким образом, после позиционирования себя в качестве логики социальная экономика, продолжая свое дело, позиционируется уже как психология. Воспитание интеллекта и свободы, одним словом, благосостояния человека, всех абсолютно синонимичных форм самовыражения, — вот общая цель политической экономии и философии. Определение законов производства и распределения богатства продемонстрирует посредством объективного и конкретного воздействия законы разума и свободы; это будет *à posteriori* творение философии и права: куда ни повернешься, мы находимся в центре метафизики.

Попробуем теперь, используя данные, полученные из психологии политической экономии, определить свободу.

Если допустимо воспринимать человеческий разум, в его происхождении, как ясный и осмысленный атом, способный в один прекрасный день представлять вселенную, но в первый момент лишенный любого изображения, можно также рассматривать свободу, в начале сознания, как живую точку, *punctum saliens* (Точка прыжков (лат.). — А.А. А-О.), смутную, слепую или, скорее, безразличную спонтанность, способную получать все возможные впечатления, диспозиции и влечения. Свобода — это способность действовать и не действовать, которая по своему выбору или определению (я использую здесь слово

определение одновременно в пассивном и активном смысле), ввиду своего нейтралитета проявляется как *воля*.

Я хочу сказать, что свобода, как и разум, по своей природе является способностью неопределенной, бесформенной, которая ожидает оценки своей стоимости и характера своего выражения извне; способности, стало быть, вначале отрицательной, но которая понемногу определяется и обретает форму посредством опыта, я имею в виду образования.

Этимология, насколько я ее понимаю, слова свободы, поможет лучше меня понять.

Радикальное выражение — это *lib-et*, если угодно (ср. нем. *lieben*, любить); откуда появилось *lib-eri*, дети, те, кто нам дороги, имя, зарезервированное для детей отцом семейства; *lib-ertas*, состояние, характер или склонность детей благородной расы; *lib-ido*, страсть раба, который не признает ни Бога, ни закона, ни страны, синоним *licentia*, плохого поведения. В зависимости от того, полезна ли спонтанность, великодушна или добра, она называется *libertas*; в противоположность этому то, что определяется как вредное, порочное и вероломное, как зло, называют *libido*.

Ученый-экономист г-н Дюнойе дал определение свободы, которое в сравнении с нашим определением в конечном итоге продемонстрирует его точность.

«Я называю свободой ту власть, которую человек обретает, чтобы смелее использовать свою силу, *поскольку он преодолевает препятствия*, которые изначально препятствовали ей. Я говорю, что он тем более *свободен*, чем более *избавлен* от причин, которые мешали ему использовать свободу; чем больше удален от этих причин; чем больше он расширил и очистил сферу своего действия... Таким образом, сказано, что человек обладает свободным духом, что он наслаждается большой свободой духа не только тогда, когда его разум не подвержен какому-либо внешнему воздействию, но также и когда он не омрачен пьянством, не изменен болезнью, не сдерживаем беспомощностью из-за того, что его не используют».

Г-н Дюнойе видел свободу только с ее отрицательной стороны, то есть как будто она была лишь синонимом *освобождения от препятствий*. В этом смысле свобода не будет способностью человека, она ничем не будет. Но вскоре г-н Дюнойе, настаивая на своем неполном определении, уловил существо дела: именно тогда он сказал, что человек, изобретая машину, служит своей свободе, но не так, как мы это воспринимаем, потому что он сам дал определение, но, в духе г-на Дюнойе, поскольку это позволяет ему преодолеть трудность. «Таким образом, артикулированный язык — лучший инструмент, чем язык жестов; поэтому легче выражать свои мысли и отпечатывать их в сознании других с помощью речи, а не жестами. Письменная речь является более мощным инструментом, чем артикулированная; поэтому легче воздействовать на разум себе подобных, когда мы умеем выражать мысли глазами, чем только артикулировать ее. Пресса является инструментом, в две-три сотни раз более мощным, чем перо: поэтому нам в две-три сотни раз легче вступать в отношения с другими людьми, когда мы можем распространять свои идеи с помощью печати, нежели чем опубликовать их только с помощью письма».

Я не буду указывать на все, что этот способ представления свободы содержит неточного и нелогичного. Начиная с Десту де Трейси, последнего представителя философии Кондийяка, философский дух был омрачен в среде экономистов французской школы; боязнь идеологии

извратила их язык, и в процессе их прочтения человек осознает, что поклонение факту заставило их упасть вплоть до ощущения теории. Я предпочитаю отметить, что г-н Дюнойе и политическая экономия вместе с ним не ошиблись в отношении сущности свободы, силы, энергии или спонтанности, безразличной к какому-либо действию и, следовательно, также восприимчивой к любым хорошим или плохим, полезным или вредным определениям. У г-на Дюнойе было такое ощущение правоты, что он сам написал: «Вместо того, чтобы рассматривать свободу как догму, я представляю ее как *результат*; вместо того, чтобы сделать ее атрибутом человека, я сделаю ее *атрибутом цивилизации*; вместо того, чтобы придумывать формы правительства, чтобы установить его, я объясню, как могу, как она *происходит из всего нашего прогресса*».

Затем он добавляет, не без оснований:

«Мы заметим, как этот метод отличается от метода этих догматических философов, которые говорят только о правах и обязанностях; о том, что правительства обязаны делать, и что нации имеют право требовать и т. д. Я не говорю наставительно: люди имеют право быть свободными; Я ограничиваюсь вопросом: как это получается?».

Из этой презентации мы можем суммировать в четырех строках ту работу, которую хотел произвести г-н Дюнойе: ОБЗОР препятствий, которые *мешают* свободе, и средств (инструментов, методов, идей, обычаев, религий, правительств и т.д.), которые ей *способствуют*. Без упущений работа господина Дюнойе стала бы философией самой политической экономии.

Подняв проблему свободы, политическая экономия, таким образом, дает нам определение, которое во всех отношениях соответствует определению, данному психологией, и которое предполагает аналогия языка: и вот как мало помалу изучение человека оказывается перенесенным от созерцания его «я» к наблюдению за реальностями.

Теперь, так же, как определения разума в человеке получили название *идей* (обобщенные идеи, предполагаемые *à priori*, или принципы, концепции, категории; вторичные идеи или специально приобретенные и эмпирические); — аналогичным образом определения свободы получили название *волеизъявлений*, чувств, привычек, манер. Затем язык, образный по своей природе, продолжающий производить элементы начальной психологии, начали присваивать идеям, как месту или способности, *интеллекту*; и волеизъявлениям, чувствам и т. д., *сознанию*. Все эти абстракции долгое время воспринимались как реальности философами, из которых никто не понимал, что любое распространение способностей души — продукт фантазии, и что их психология была лишь миражом.

В любом случае, если мы теперь понимаем эти два порядка определений, разума и свободы, как объединенные и основанные организацией в живой, разумной и свободной *личности*, мы сразу поймем, что они должны взаимно влиять и помогать друг другу. Если по ошибке или непреднамеренности разума свобода, слепая по своей природе, приобретает ложную и роковую привычку, разум не опоздает с тем, чтобы это воспринять; вместо истинных идей, в соответствии с естественными отношениями вещей, он сохранит только предрассудки, тем труднее извлекаемые из разума, чем с возрастом они станут дороже сознанию. В этом состоянии разум и свобода уменьшаются; у первого нарушается его развитие, вторая

стеснена в своем расцвете, и человек введен в заблуждение, одновременно злой и несчастный.

Таким образом, когда из-за противоречивого восприятия и неполного опыта устами экономистов было объявлено, что не существует правила стоимости и что законом торговли был спрос и предложение, свобода перешла в пыл амбиций, эгоизма и игры; торговля была не более чем азартной игрой, подчиняющейся определенным полицейским правилам; из источников богатства возникла нищета, социализм, сам по себе раб рутины, знал только, как протестовать против последствий, вместо того, чтобы восстать против причин; и разум, под воздействием зрелища стольких зол, должен был признать, что все пошло не так.

Человек сможет достичь благополучия не только тогда, когда его разум и его свобода действуют в согласии, но и при условии, если они не останавливаются в своем развитии. Тогда, когда прогресс свободы, как и развитие разума, не определены, и с учетом, что эти две силы тесно связаны и объединены, необходимо сделать вывод, что свобода тем более совершенна, чем она больше соотносится с законами разума, которые являются законами вещей; и что если бы это условие действовало бесконечно, сама свобода стала бы бесконечной. Иными словами, полнота свободы заключается в полноте разума: *summa lex, summa libertas* (Дословно с лат.: общее право, полная свобода. — А.А. А-О.).

Эти предварительные данные были необходимы для полной оценки роли машин и для освещения цепочки экономического развития. В связи с этим я хотел бы напомнить читателю, что мы создаем историю не в соответствии с порядком времени, а в соответствии с последовательностью идей. Экономические фазы или категории в своем проявлении иногда современны — настолько сильно бывают перевернуты; и отсюда возникает крайняя трудность, с которой экономисты всегда сталкивались при систематизации своих идей; отсюда и хаос их произведений, даже самых рекомендуемых во всех других отношениях, таких, как Ад. Смит, Рикардо и Ж.-Б. Сэй. Но экономические теории, тем не менее, имеют свою логическую последовательность и место в мышлении: мы способствовали открытию именно этого порядка, который сделает эту конструкцию одновременно и философией, и историей.

Версия #1

Зверобой создал 14 марта 2025 02:52:57

Зверобой обновил 14 марта 2025 02:53:40